

ОТЧЕГО НЕ УДАЛСЯ ПАМЯТНИК ГОГОЛЮ?

Об этом очень много говорят в Петербурге,— вероятно, говорит или в свое время подумала вся Москва; это, без сомнения, легло печальною мыслью по всей России. Памятника, по крайней мере в Москве,— второго Гоголю не будет: и то, что испорчено «на этом месте и в этот год», естественно, никогда не исправится. Это, конечно, безмерно печально. Все говорят это с каким-то осуждением Москве,— как будто памятник ставила не вся Россия. «Но Москва не умела подумать», «не умела выбрать». Мне кажется, тут больше виновата печать: она не умела своевременно критикою проекта заставить отложить его или переделать его.

Мне ужасно жаль художника Андреева: представляю его смущение! Он, вероятно, никак не ожидал такого впечатления от своей работы «в деле»,— так как проект ведь всем нравился и имел причины понравиться! В самом Андрееве, как он работал над моделью, видно одушевление: ведь лицо Гоголя на памятнике — совсем не то, что на памятнике же лицо Пушкина! Там — только схема и, позволим выразиться грубо, только бронзовая «болванка» того, кого мы любим под именем «Александра Сергеевича»; но Гоголь — это чувствуется — был таким, как его представил г. Андреев. Ну, был — *в последний момент*, уже не творческий момент: однако все-таки же — был! Это — портрет *живого, натурального* человека, что очень много для памятника, который всегда являет схему или идею изображенного человека, по несчастному неумению русских. В памятнике Гоголя есть несомненно «кое-что» необыкновенно ценное,— и редкое. Рассматриваемый

вблизи, он чрезвычайно нравится, заинтересовывает. А ведь, например, памятник Пушкину в Москве до того шаблонен, что на него невозможно долго смотреть: скучно! Этой ужасной скуки нет в памятнике Гоголю; но печаль состоит в том, что в нем совершенно ничего не видно, едва вы отдалились от него на некоторое расстояние. Сзади же он представляет положительное и бессмысленное безобразие.

Степень раздражения, высказываемого по адресу г. Андреева, так велика, что мне привелось раз услышать ревнивое к чести Гоголя и к чести Москвы замечание, что работу Андреева «нужно взорвать, уничтожить»; — «тогда по крайней мере когда-нибудь, кто-нибудь воздвигнет достойное и Гоголя и Москвы».

* * *

Это было сказано в горячем споре со мною, — горячем и упорном. Спорщик был молчаливый, умный человек. А я чувствовал какую-то тоску от всего, что он говорил, сознавая, что тут есть и какая-то осозаемая правда, — потому что что же за памятник, в котором ничего не видно, — и вместе какая-то неправда, но которую я не умел опровергнуть. Споривший сам не видал памятника и полагался на множество сообщений о нем, вторивших в одну ноту: «памятник не годится», «он поставлен не великому человеку, а какому-то,льному существу, до которого нам дела нет». Споривший передавал эти порицания своих корреспондентов.

— Кому «дела нет»? — переспросил я.

Он остановился в недоумении.

— Никому. Гоголь написал великие вещи, и за великие вещи ему поставили памятник. За болезни памятников не ставят.

— Знаете, — ответил я, — «памятник Гоголю», «Гоголь, изваянный в бронзе», — задача неразрешимая. Здесь существование увековечивания, существование бронзирования, существование памятникоделания, — простите чудовищное выражение, — встречает неодолимые преграды в лице того, кому монумент воздвигается. Черная плита, как на могиле Гоголя в Даниловом монастыре... да, это — так, это — можно, хорошо и «идет». Там — никаких изображений, ни — портрета его. И настоящий «памятник Гоголю в Москве» бы и останется единственно этот массивный, тяжелый, глухой и слепой гранит на его могиле; работа же Андреева — просто ничего. Это — неудачно решенная на доске задача ученика, которую, если хотите, можно стереть мокрой губкой. Но «не удалась» задача не оттого, что художник slab,

что неумел или глуп, что он не был воодушевлен или старательен: вовсе нет! Но была *неверность* в самой задаче, в самом задавании, о чем не подумали тридцать лет назад. Нельзя вообще задавать «изобразить Гоголя» или — «увековечить память о его творениях»...

— Отчего нельзя?

— Вы раньше упомянули, говоря об *идеалах* Гоголя, о его *молодых* повестях, и назвали особенно его «Тараса Бульбу». Но ведь не за это же поставили ему памятник. Все вами названное — только опыты, только «пробы пера». Кто же увековечивает начинания, а не конец? Это противоречит идеи «памятника». «Памятник» ставится «всему» в человеке, ставится «целому» человека и творца. Это — непременно. Андреев так невольно и взял: взял — конец! Но тут идея памятника столкнулась с фактом в человеке: «конец» Гоголя есть сожжение 2-го тома «Мертвых душ», безумие и смерть. Андреев волею-неволею взялся за это, и его Гоголь с упреком, недоумением и негодованием смотрит в толпу у своего подножия,— готовый бросить в печь свои творения...

— Это — болезнь, этого конца не надо было изображать. Тут — *психиатрия*, до которой *литературе* нет дела...

— Но что же вы делаете и как поступите, если в факте колossalной *литературной* значительности развивался все время другой *психиатрический* факт,— но не медицинско-психиатрический, а метафизико-психиатрический. От души «Ивана Ивановича» до души Платона — неизмеримая разница; и если медик, с заботой прописать лекарство, изучает пульс Ивана Ивановича, прописывает ему бром и холодные компрессы на голову, то все это забавно в отношении Платона, который, однако, в лучшем своем трактате, «Пире», высказал тезис, что «только люди, способные к безумию, и именно в пароксизмах безумия, приносят на землю глубокие откровения истины». Согласитесь, что бром очень мало помогает против такой философии. Гоголь кончил безумием, но гениальным и гениально,— как мог бы им кончить в другой обстановке и среди других людей Платон,— как на границе этого «безумия» прожил всю жизнь знаменитый Паскаль, коего «Pensees» не то же самое, а, однако, родственны с «Перепискою» Гоголя. Но оставим сравнения, которые всегда только приблизительны. Указывая на Паскаля — математика, физика, святого, философа, экзальтированного меланхолика,— я хочу только указать, до какой степени в самом деле не сходны души человеческие от «Ивана Ивановича» до некоторых исключительных натур, которые уже с детства, с 11-ти лет, кажутся странными своим

родителям и всем окружающим, кажутся болезненными, внушают тревогу; и доктора только оттого, что их не зовут,— не прописывают уже с детства им своего брома и холодных компрессов. Паскаль всю жизнь носил под одеядою что-то вроде вериг, усеянных маленькими гвоздиками, и когда чувствовал, что мысль его течет «не туда», куда надо было его суровой морали,— натягивал веревочку на теле, и гвоздики впивались в него. Эта тайная внутренняя инквизиция в таком математике, как Паскаль, «несоизмерима» со «здравым умом» гимназических учителей и практикующих медиков. Но они новых теорем не изобрели, а Паскаль изобрел. Я веду свою речь к тому, что измерения и емкость души человеческой очень мало известны не только обыкновенному наблюдателю, но даже и науке. И некоторые формы гениальности, или, вернее, «приступы» гениальности — сродни безумию, или вытекают из форм безумия, почти безумия: безумия не в логическом смысле, не в смысле умения связывать мысли, сочетать понятия и проч., а безумия в смысле смятения всех чувств, необыкновенного внутреннего волнения, «пожара» души, «революции» в душе. Заметьте, что с «помешанными» необыкновенно скучно; «помешательство» не интересно ни для кого, кроме медика. Помешательство — минус души, а не плюс души. Но с Гоголем никак не было неинтересно в миг сожжения им рукописи; Гоголь наводил скучу своим экстазом, своими уверениями, что он «счастлив» и «оставьте меня одного», именно только на медиков, и — потому, что они не могли прописать ему бром; но наверное можно сказать, что в этот миг на него бы взглянул огромным, расширенным глазом Пушкин, что ему мог бы сказать проницающее до глубины души слово Лермонтов; что с ним повел бы взаимно-понятную речь Паскаль. Итак, это безумие — особого рода, не медицинское, а — метафизическое, где менее безумствует мысль и более безумствует воля, сердце, совесть, «грех» в нас, «святость» в нас; где миры здешний и «тамошний» странно перепутываются, взаимодействуют, человеку открываются «небеса», и вообще он ощущает, видит и знает много вещей, весьма странных с точки зрения аптекарского магазина и департамента железнодорожных дел, но не очень уже странных для священника, для отшельника, для святого, для ясновидящего, для Платона, Паскаля и, может быть, для каких-нибудь мудрецов Индии или сектантов Ирана. В Гоголе с детства, с десяти лет, когда он был уже странным мальчиком в семье и школе, а я думаю — с самого рождения, т. е. уже врожденно,— жило, росло и развивалось это гениальное, особенное, исключительное безумие, которое перед

концом всем овладело, разлилось «вовсю», но и ранее «конца» было в нем единственно растущим, деятельным, движущим началом. Разве в заключительной строчке «Скора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»: «*Скучно на этом свете, господа*», — такой коротенькой, такой неожиданной, — уже не сказался весь дух и настроение «Мертвых душ», не глянули из-под веселого рассказца меланхолические глаза, тускло и странно уставленные на мир? Гоголь никогда не менялся, не перестраивался. Он был всегда таким, каким родился, — и только рос. Рос в странное уединение свое, в безумие свое, в тоску свою, — увы, слишком явную! И самую тоску он не мог ни рассеять, ни раскидать; едва ли даже умел постичь... «Нашла туча — и задавила. Как темно, — боже, как темно в сем мире!»... И — ничего больше, ничего — более понятного. Но я возвращаюсь к теме памятника... Как же вы хотите, чтобы такое «коронование» человека, — а памятник есть «коронование», — удалось, вышло удачным и даже просто осмысленным? Гоголю вообще невозможно поставить хорошего памятника. И не нужно. Ему лично вовсе не нужно, «не благопотребно», как говорят семинаристы; но и для России тоже не нужно. Смотрите, сколько у нас «божественных» изображений: а в Библии и у евреев — не было ни одного. Почему? Потому что у евреев священное было *не* изобразимо, не выражимо. Так от религии эта разница переходит и в другие области. Есть вещи, просящиеся под резец, так сказать, «монументальные» уже в существе своем, в натуре своей, во вдохновении своем, в идее своей. Легко Фальконету было делать Петра; не трудно было делать памятник и Крылову, — чуть ли не единственными удачные у нас памятники. Но и Фальконет «измарал бы дело», будь перед ним поставлена тема: «памятник Гоголю». Как делать? Натурально? Не натурально? Реально, символически? Не устроить ли где-нибудь сбоку Аполлона с лирою? Не дать ли в руки самому Гоголю лиру? Фальконет сломал бы орудия мастерства перед задачей выполнить неисполнимое. Ведь Гоголь и лирик, и натуралист. Но сочетать эти понятия можно именно только в слове, можно об этом рассказать, можно об этом рассуждать, но представить соединение лиризма и натурализма невозможно. Ничего нет легче, как прочитать лекцию о Гоголе и дивно иллюстрировать ее отрывками из его творений. В слове все выйдет красочно, великолепно. А в лепке? — Попробуйте только вылепить Плюшкина или Собакевича. В чтении это — хорошо, а в бронзе — безобразно, потому что лепка есть тело, лепка есть форма, и повинуется она всем законам ощутимого и осязаемого. Как вы извяжете «бесплот-

ных духов» Гоголя и его самого, который в значительной степени был тоже «бесплотным духом»... и, добавлю безумное определение: видимость полного человека — имел, а *натурой полного человека — вовсе не имел!* Вот в этой-то «неполноте» его и заключается настоящая причина прямо невозможности его изобразить, иначе как в лицевом или бюстовом портрете, притом на плоскости, в красках, а — не в объеме, не в бронзе, и, уж конечно — не в полном росте! Изобразите-ко Гоголя в полном росте на памятнике: дети будут разбегаться, да и взрослые отвернутся.

«Мертвые души» и «Ревизор» все венчают: но что это такое? Отрицание монументальности, отрицание нужности самого портрета. Гоголь нарисовал *последний* портрет этих «душ», предсмертный портрет. И так нарисовал, что вся Россия закричала: — «*Похоронить их!* — похоронить как можно скорее!! Засыпать землею, чтобы и лица их не видно было, не слышно было запаха их!» Согласитесь, что тут не до монументов; что тут монументу совершенно нечего делать. Самая суть дела и суть «пришествия в Россию Гоголя» заключалась именно в том, что Россия была или, по крайней мере, представлялась сама по себе «монументальною», величественною, значительнуюю: Гоголь же прошелся по всем этим «монументам», воображаемым или действительным, и смял их все, могущественно смял своими тощими, бессильными ногами, так что и следа от них не осталось, а осталась одна безобразная каша...

— Помните ли вы тот разговор Чичикова с генералом Бетрищевым, где упоминается об «Истории генералов 12-го года»? Если придвинуть сюда еще «Историю о капитане Копейкине», то оба эти эпизода составят всего несколько страниц великой и грустной поэмы, великой и страшной поэмы: но их впечатление до того неотразимо, что у читающего совершенно ничего не остается от впитанного с детства восторга к Отечественной войне. Труд этого года, страдания этого года, и, наконец, *подлинное величие его* — куда-то улетучивается. А никакого порицания нет, никакой сатиры нет. Нет насмешки, глумления. Страницы как страницы. Только как-то *словечки поставлены особенно*. Как они поставлены, — секрет этого знал один Гоголь. «Словечки» у него тоже были какие-то бессмертные духи, как-то умело каждое словечко свое нужное сказать, свое нужное дело сделать. И как оно залезает под череп читателя — никакими стальными щипцами этого словечка оттуда не вытащишь. И живет этот «душок» — словечко под черепом, и грызет он вашу душу, наводя тоже какое-то безумие на вас, пока вы не скажете с Гоголем:

— «Темно... Боже, как темно в этом мире!»

— «Боже, как грустна наша Россия!» — сказал Пушкин, прочтя первые главы «Мертвых душ», — сказал это вот-вот после войны 12-го года, после царствования Екатерины II, и давший знаменитый о России ответ Чаадаеву.

Чаадаеву он мог ответить. Но Гоголю — не смог. Случилось хуже: он вдруг не захотел ответить ему, Пушкин вдруг согласился с Гоголем; ибо выражение его после прочтения «Мертвых душ»: «Боже, как грустна наша Россия» — есть подпись под поэмой, есть согласие с творцом поэмы. Это удивительно. Тайна Гоголя, как-то связанная с его «безумием», заключается в совершенной неодолимости всего, что он говорил в унизительном направлении, мнущем, раздавливающем, дробящем; тогда как против его лирики, пафоса и «выспренности» устоять было не трудно. Это последнее было просто «так», веяло вне черт его таинственного гения.

Ну, что же тут ставить памятник? Кому? Чему? Пыли, которая одна легла следом по той дорожке, по которой прошелся Гоголь? Воздвигают *созидателю*, воздвигают *строителю*, воздвигают тому, кто несет в руках яблоки,— мировые яблоки на мирское вкушение. Но самая суть пафоса и вдохновения у Гоголя шла по обратному, антимонументальному направлению: пустыня, ничего. Один Бог над землею, да яркие звезды в небе,— с которыми умеет говорить пустынник-поэт, худой, изнеможенный. И только он и умеет смотреть на них, вверх; а как оглянется кругом — все вдруг начинает уходить под землю, вниз, в могилу: и целая планета становится могилою своего обитателя-человека.

— «Грустно на этом свете, господа».

И не могло не быть «грустно» душе такой особенной, и одиночной, и зловещей. С зловещею звездою над собой, пожалуй — с черною звездою в себе.